

О ПАРАТАКСИСЕ И ГИПОТАКСИСЕ: СТРУКТУРНАЯ КОНТРАРНОСТЬ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ КУЛЬТУРЫ

© 2018

DOI: 10.31857/S023620070002344-5

А.В. Шипилов

В данной статье мы попробуем на примере греко-римской античности сравнить структурные особенности ранней/неразвитой и поздней/развитой культур в контексте структурно-функционалистского понимания развития как движения от единого к целому¹. Наиболее удобными для классификации культур по типу их структуры нам представляются синтаксические категории “паратактивность” и “гипотактивность” (грамматические “сочиненность” и “подчиненность”, задействуемые в качестве культурологических по предмету и методу концептов).

Рассматривая архаические социокультурные формы как нижний предел классических, следует обратить внимание на то, что отношения между теми и другими — стремятся к нулю. Тождество здесь уже преодолено различием, но различие еще не преодолено тождеством; единое уже распалось на многое, но многое еще не собралось в единое. Проще говоря, вместо единого мы имеем единичности, не являющиеся частями целого за его отсутствием. Социокультурный континуум дивергировался, но не систематизировался: множественность выделившихся элементов не упорядочилась в иерархическую целостность и вполне адекватно может быть описана как *все разные, все равные*. В каждой единице еще бодрствует единое, а то, что слабо разъединено, то и слабо объединено: [сравнительный] минимум дифференциации коррелирует с [сравнительным] минимумом интеграции, малорасчлененное неизбежно оказывается малосвязанным. Равноуровневые/равнозначные/равноценные реалии не образуют в данном случае фигур типа “целое — части”, “род — виды”, “сущность — явления”, а предстают в виде последовательностей и сложенностей, перечней и сумм.



**УНИВЕРСИТЕТ
ЧЕЛОВЕКА**



**Шипилов
Андрей**

Васильевич —
доктор культурологи,
профессор кафедр философии,
экономики и социально-гуманитарных дисциплин Воронежского государственного педагогического университета.
Постоянный автор журнала. Электронная почта:
skriptor@icmail.ru

¹ На с. 46.



Терминологически это может быть выражено с помощью таких понятий, как “паратактивность” и/или “аддитивность”, используемых в максимально близком нашему контексте П. Фейерабендом в семнадцатой главе книги “Против метода”, где он как раз обращается к материалу греческой архаики (главным образом, искусству и литературе) и описывает фактически то же, что интересует и нас [9, с. 380-404]. Аддитивность суть прибавляемость: в математике аддитивная величина есть та, что соответствует целому объекту, будучи равна сумме величин или свойств, соответствующих частям (целое в этом случае тождественно сумме своих частей и не обладает собственной субстанциональностью). Паратактивность есть рядоположность: этимологически данное понятие производно от названия грамматической конструкции координации — паратаксиса в отличие от конструкции субординации — гипотаксиса; сочинение вместо подчинения. Паратактивность есть одна из существеннейших характеристик социокультурной модальности единого.

Для праологического мышления архаического социума характерна конкретность и образность и нехарактерна абстрактность и понятийность; не то чтобы формально-логические законы здесь игнорировались вовсе, но, например, разные мифы и их варианты, отличаясь друг от друга, друг другу не противоречат, а рядопологаются вплоть до полного исчерпания образа. Аполлодор в “Мифологической библиотеке” чуть ли не после каждого пересказанного мифа (“одни говорят”) добавляет: “иные сообщают”, “некоторые же говорят” или “но есть писатели, которые утверждают” [2, с. 55, 69, 71], — после чего следует другой вариант (а то и третий и т.д.). Все варианты и вариации равносильны и равноценны; не имея возможности быть истинными или ложными, они просто складываются в суммативном знании.

Но в случае греческой мифологии еще есть нечто, что можно знать, а вот в римской религии даже с этим были проблемы, ибо сакральные существа и сущности (моменты и места, силы и качества, акты и функции и т.д.) выступали здесь по преимуществу анонимными множествами, составляемыми безличными и бесполовыми *numina*. С течением времени не определенные даже по численности Лары, Пенаты, Парки, Паны, Камены, *Semones*, *Pomones*, *Virites*, *Moles*, *Albionae* и др. послужили основой для вычленения парных и индивидуальных божеств, и вот тут-то и можно наблюдать буйство аддиции и праздник паратаксиса, когда дверные створки охранял Форкул, петли — Кардия, а порог — Лимент, или когда зерном, брошенным в землю, занимался Сатурн, растущим хлебом — Церера, цветущим — Флора, а созревшим — Конс. (Вариант посложнее: пахота — Янус, сев — Сатурн, питание зерна — Сея Симония, ростка — Сегетия, защита его от холода — Волютина, прорастание — Нодут, колошение — Панда, рост колоса — Гостилия, цветение колоса — Флора, молочная спелость — Лактант, до-

¹ Общеметодологический подход к историческому анализу культуры и культур, основанный на категориях единого, иного и целого, тождества и различия, как и принципы выделения и анализа верхнего и нижнего предела культур и культурных феноменов изложен автором в работе [10]. Подробно эксплицировать его в настоящей статье нет нужды: все необходимое для понимания ясно из контекста. Там же обосновывается и отсутствие подробного анализа литературы и многочисленных библиографических ссылок как прием не только жанровый, но и методологический.

зревание — Матута, охрана его от болезней — Робиг, от сорняков — Спиниент, удобрение — Стерквилин, прополка — Рунцина, жатва — Мессий, обмолот — Нодутерент, помол — Пилумн.) А вот еще пример: родовыми муками заведовала Партула, рождением — Луцина, жизнь новорожденному давал Витумн, чувства — Синтин, Вагитан открывал ему рот для первого крика, Левана поднимала с земли, Кунина охраняла люльку, Куба — постель, Румина приучала сосать грудь, Эдука — есть, Потина — пить, Фабулин, Фарин и Локуций — говорить (первый обучал членораздельным звукам, второй — словам, третий — фразам), Статан — стоять, Карна заведовала ростом мышц, Осипаго — костей, Абеона выводила из дома, Адеона приводила домой, в школу сопровождала Итердука, из школы — Домидука, et cetera, et cetera.

Эта невероятная дробность демонстрирует не развитую способность конкретизации, а неразвитую способность абстракции. Конечно, и у римлян имелись универсализированные божества, и у греков встречались предметно-функциональные персонализации вроде упоминаемых Полемоном Перизетом (“У элейцев почитается Аполлон Лакомка и Зевс избавитель от мух”) [6, с. 207], но сравнение все же не в пользу первых.

И даже когда от религиозно-мифологического комплекса постепенно отпочковываются десакрализуемые области знания, такие как философия/наука и право, мы и здесь встречаем немало примеров прибавляемости и рядопологаемости. Для первых философов мудрость есть совокупность разных объяснений различных феноменов; быть мудрым — это быть многознающим, знающим множество вещей. Это знание-сумма, а не знание-система; частное не выводится в нем из общего, равно как и наоборот, оно не дедуктивно и не индуктивно — оно аддитивно. Милетцы — это не Аристотель, и даже не атомисты, создававшие свои *мирострои* через различение частей и целого и объяснявшие что бы то ни было на основании исходной/конечной логической схемы; ионийская наукофилософия есть бесструктурное множество утверждений и идей, не выводимых и не сводимых друг к другу, а просто рядопологаемых. Что же касается права, то здесь паратактивность еще более выражена в казуистическом построении законодательств Залевка, Харонда, Драконта, Гортинских законов, Законов XII таблиц и др.: вместо общих юридических норм мы видим лишь списки конкретных случаев судебной практики, практически не связанных друг с другом. Каждая “статья” построена по принципу: если кто-то сделал что-то, будет наказан так-то; среди наказаний, в свою очередь, нередок талион (“Радамантово право” по Аристотелю: “терпишь когда что содеял, то правда прямая родится” [3, с. 155]), когда в силу отсутствия меры преступления, абстрагированной от отдельных правонарушений, происходит простое воспроизведение действия с противоположным вектором, где субъект и объект меняются местами.



Паратактивность в полной мере свойственна архаическому языку и ранней литературе. Гомеровские поэмы (особенно “Илиада”) отличаются обилием конкретно-образной и недостатком абстрактной лексики, в них множество простых и развернутых сравнений и мало общих суждений; что касается синтаксиса, то паратаксис господствует в нем над гипотаксисом, а предложения с несколькими придаточными выглядят не сложными, а сложенными: переход от подчиненной к самостоятельной конструкции реализуется простым соположением. Архаическая латынь еще более архаична: лексика морфологически примитивна, бедна формативами, отличается конкретизмом, семантической слабосильностью, когда для передачи отвлеченных понятий используются наименования конкретных предметов. В синтаксисе сочинение преобладает над подчинением так, что признак признака может быть отнесен к самому предмету; иерархические конструкции редки, слова и предложения связываются неуклюже и с трудом. Структурная недостаточность, дефицит системности, нехватка субординированности свойственна и созданной на таком языке литературе. У Гомера вещи, люди и события изображаются через рядоположности признаков и действий, что приводит к эффекту хронологической несовместимости: одновременные события предстают происходящими последовательно. Вещи и акты описываются списками деталей и сравнений и соплагаются в цепочки перечислений; любая реальность столь же мало выглядит целым, как частями, сколь и частью целого. Многое из этого присутствует и в более поздних памятниках: так, у Пиндара, “представлявшего себе мир прерывной цепью мгновенных откровений” [5, с. 379], композиционность настолько уступает ассоциативности, что тексты представляют собой нагромождения образов и символов, не имеющих между собой смысловой связи и объединяемых простой последовательностью, а трагедии Эсхила (особенно ранние) в структурном отношении суть ряды сцен, минимально связанных друг с другом и сцепляемых в последовательность лишь внешним действием. Точно так же агломеративно-аддитивными выглядят истории историков, будь они греческие или римские: не только логографы и хронисты с их соплагаемыми/прибавляемыми погодными записями, но и авторы типа Гекатея, Гелланика и Геродота организуют свои труды как собрания анекдотов, где нет ни общей идеи, ни конкретных примеров, а есть лишь суммативное множество описаний и повествований (особенно это очевидно в сравнении с Фукидидом или Полибием). Аналогично смотрятся и другие ученые сочинения — например, труд Катона о сельском хозяйстве есть бессистемное собрание высказываний и советов по самым разным предметам и поводам, его рядоположная структура разительно отличается от подлинного *modo geometrico* посвященных той же теме более поздних работ Варрона и Колумеллы. (Первый дает целый диалог с обсуждением деталей систематики, второй

указывает, что “наука не обязана блуждать среди бесчисленных видов: ее путь пролегает через роды, которые легче охватить мыслью и словом” [4, с. 65]; у Катона же — именно виды без родов, каковые в силу этого и не виды вовсе, а лишь внешне механически сопологаемые сингулярности.) Во всем этом выражает себя мышление, где вместо общего и конкретного, целостного и частичного, иерархически соподчиненного налицо лишь сочиненно-сложенная сумма несоизмеримостей — как у Гомера, у которого, согласно Бруно Снеллю, нет общих названий для души и тела (точнее, нет даже слов для обозначения рук и ног — фигурируют только кисти, плечи, предплечья, ступни, икры и бедра) [11, р. 5-8].

Наконец, самые наглядные примеры паратактивного минимума связности, отсутствия иерархии и субординации представляет нам античное изобразительное искусство. Монументальные комплексы архаики распланированы так, что отдельные сооружения просто приставлены друг к другу, образуя элементарные последовательности. Декор соответствует тектонике: рельефы метопа ранних храмов типа сокровищницы сикионян в Дельфах напрочь лишены композиционной целостности — здесь не только разнятся масштаб и количество фигур, но и одно событие может быть изображено на нескольких соседних метопах, а рядом на одной метопе могут быть изображены несколько событий сразу. Столь же составной характер имеют и фронтоны группы: мастер не мыслит композиционно, не видит треугольную плоскость единым изобразительным полем, а просто заполняет фронтон по отдельности выполненными фигурами — в центре большими, по углам маленькими. На фронтоне храма Артемиды на Керкире швы досок перерезают фигуры, не объединенные единством действия: в середине огромная Медуза, окруженная пантерами (она бежит, они лежат), по краям — сцены битвы богов с гигантами, причем последние даны в совершенно ином масштабе, чем первые, так что сам Зевс на несколько размеров меньше не только горгоны, но и чисто декоративных пантер. Та же разномасштабность налицо и в фронтоне 560 г. до н.э. с афинского Акрополя, где шов разрезает изобразительное поле пополам: одну половину целиком заняла Лернейская гидра, а всем остальным персонажам пришлось стесниться на другой, так что Геракл получился в масштабе значительно меньшем, чем Иолай, а кони — и того меньше.

Круглая скульптура имела свои особенности, совокупность которых с полным правом также может быть обозначена как аддитивность/паратактивность. Статуэтки геометрического стиля как бы собраны из различных частей — голова, корпус, бедра, икры, с переходными утоньшениями между ними. (Особенно показательна известная композиция героя и кентавра середины VIII в. до н.э., где кентавр буквально смонтирован из профильной фигуры человека и приставленной к нему столь же про-



фильной задней половины лошади.) Архаическая скульптура, будь то мрамор или терракота, воплощает в себе ту же прибавляемость и суммативность, когда отдельные части, планы и плоскости не образуют целого, а, оставаясь самостоятельными, просто складываются друг с другом. Туловище анфас может быть прибавлено к ногам в профиль; вообще фас и профиль существуют сами по себе, отношение между ними трудно назвать даже механической связью, так как одно не переходит в другое, а лишь добавлено к нему. Эта *круглая скульптура* выглядит “четырёхфасадной” в силу того, что мастер обрабатывает разные стороны прямоугольного блока раздельно, поэтому получаются четыре плоскости (два фаса и два профиля или то и другое с двух сторон) вместо одного объема, вместо пластической единицы выходит поверхность[ност]ная множественность. Еще выразительней лица этих курсов и кор: отдельные элементы — брови, глаза, нос, рот — живут сами по себе, не будучи связаны друг с другом (Аполлон Тенейский). Что же касается многофигурных композиций, последнее слово чуть ли не всякий раз надо брать в кавычки: не только Клеобис и Битон, но и Гармодий и Аристоклитон просто приставлены друг к другу, не являясь единой группой; их можно раздвигать и сдвигать, поворачивать под разными углами и даже ставить на разную высоту — целостность ансамбля не будет утрачена, ибо ее/его там нет изначально.

Из общего ряда не выбивается и живопись: полосы и фризы геометрического и ориентализирующего стилей суть просто визуальные списки, а отсутствие линии почвы и присутствие надписей между персонажами в чернофигурной вазописи говорят об отсутствии единого изобразительного поля и декоративном по своему характеру заполнении поверхности фигурами. Любая изобразительная единица аддитивно прибавляется к иной, они составляют паратактивное множество, лишенное целостности.

Противоположная модальность, модальность целого, отличается противоположными же характеристиками: социум/культура предстают здесь гипотактивным единством, разнообразно воплощающим ту самую целостность. Гипотаксис как конструкция субординации действительно противоположен паратаксису как конструкции координации: речь идет не о сочинении, а о подчинении. Если же связанные с этими терминами синтаксические коннотации покажутся слишком отчетливыми и потому неуместными, можно прибегнуть к старой доброй “иерархии”, противопоставив соподчиненность соположенности (аддитивности/суммативности, в свою очередь, можно противопоставить столь же общеупотребительную “системность”). Так вот, гипотактивность чрезвычайно характерна для постполисной социальности, где на смену взаимоотталкиванию приходит сопричастность, полярность сменяется партиципацией, а бинарность уступает место тернарности. В умножающихся гегемониях, федерациях и империях сама идентичность стано-

вится иерархичной: все беотяне теперь могут называться фиванцами, а в эпиграфике и монетных легендах не редкость “коринфяне ахеяне”, “сикيونяне ахеяне”, “тегеяне ахеяне” и пр. (По Полибию, “имя ахеян распространилось на всех пелопоннесцев”, при этом двойное название свидетельствовало о своего рода двойном гражданстве [7, с. 56-58, 233]). Эндонимы и экзонимы из эксклюзивных становятся инклюзивными, приобретают ступенчатый характер; кроме гентильной и этнической, а главное, кроме полисной или муниципальной принадлежности, появляется идентичность регионально-провинциальная и общегосударственная (это еще не принимая во внимание лингвокультурную и религиозно-конфессиональную).

Аналогично расщепляются и иерархизируются социальные сферы и институты, начиная с важнейших — власти и собственности. Инкорпорируясь территориальной монархией, полисное перестает быть политическим и опускается на уровень *местного самоуправления*, контролируемого сатрапами и легатами, дворами и дворцами, базилями и императорами. Эллинистические полисы владеют хорой, но сами сидят на царской земле, так что выморочные клеры отходят не городу, а царю; в Риме император тоже заменил собой общину в качестве верховного собственника, и если в Италии еще мог быть доминий (полная частная собственность — впрочем, без права уничтожения), то в провинциях существовали только посессия и узуфрукт (владение и право на использование и извлечение дохода), а выморочная земля отходила не муниципию, но фиску. В любом случае субординация земельной и иной собственности приводит к образованию цепочек и пирамид: гражданин — город — император; или: общинник — община — город — император, — а учитывая аренду/колонат — и более сложных. Все это закрепляется в праве, которое утрачивает казуальный и приобретает дедуктивный характер: можно сравнить ранние уложения вроде “Законов XII таблиц”, представляющие собой простые суммы конкретных примеров, с поздними учебниками типа “Институций” Гая, где изложение образцово систематично, развертываясь от общих принципов к частным случаям. (Еще Аристотель указывал, что “каждое [положение] права или закона есть как бы общее по отношению к частному, ибо поступки многообразны, а [положение] — как общее — всякий раз одно” [3, с. 161]), хотя до настоящей кодификации права греки и римляне дозрели лишь к концу Античности. Суд, в свою очередь, тоже становится иерархичным: если в классическом [римском] праве любое решение было окончательным, то при доминате вводится апелляционное обжалование судебного решения в вышестоящей инстанции вплоть до императора.

Территория империи делится на префектуры, префектуры — на диоцезы, диоцезы — на провинции, население разделяется на классы, сословия и чины, и все эти подразделения образуют иерархическую систему. Теперь человек позиционирует себя не



на плоскости антагонизмов “эллин — варвар”, “гражданин — негражданин”, “свободный — раб”, а в стратифицированном пространстве социальной иерархии. Налицо классовая идентичность и классовая идеология; элита и масса, в чьих рядах смешиваются различные этнокультурные компоненты, разделяют разные ценности и исповедуют разных богов. Гражданство уступает место подданству, полярность “свои — чужие” сменяется иерархией “высшие — низшие”, воплощающейся не только в имущественном, но и в правовом неравенстве — устанавливается сословный строй. Сословное деление имеет отчетливо субординированный характер: *honorati* выше *honestiores*, а те выше *humiliores*. Государственная служба реорганизуется так, что не класс определяет должность, а должность — класс, при этом расписание должностей структурируется табелью о рангах, предусматривающей многоступенчатую лестницу чинов: *nobilissimi* (“знатнейшие”), *illustres* (“сиятельные”), *spectabiles* (“почтеннейшие”), *clarissimi* (“светлейшие”), *perfectissimi* (“совершенные”), *egregii* (“выдающиеся”), с которой переплетается сложная иерархия титулов и званий.

В модальности целого доминирует не только социальный и политический, но и интеллектуальный гипотаксис. Если соматичность классики выражает себя посредством шара и окружности, то спиритуализм верхнего предела Античности визуализируется треугольником и пирамидой. Неоплатоники видят мир как иерархию, мыслят бытие не дихотомиями, а субординациями, оперируют степенями, а не противопоставлениями. Полнота единого и пустота материи не столько оппонируют друг другу взаимным отрицанием, сколько связываются движениями нисхождения и восхождения, эманации и экстаза, через промежуточные ступени нуса, псюхе и космоса (у Прокла между единым и умом еще располагаются числа, они же боги, и вообще все уровни триадически дифференцируются). Иерархическое мышление здесь настолько преобладает над дихотомическим, что даже зло и безобразие понимаются не как противоположности добра и красоты, а как низкая степень последних. Плотин высказывается в том духе, что зло есть лишь удаленность от блага, его лишенность и отсутствие (этот подход будет развивать Августин в своей теодицее). В системе вселенского целого всему отведено свое место и задано предназначение. Есть оно и у зла — “знакомство со злом облегчает понимание добра у людей, чьи силы слишком слабы, чтобы ясно постичь зло, не встретившись с ним”. Предвосхищая булгаковского Воланда, Плотин доказывает, что зло суть часть мирового порядка и потому можно говорить если не о его необходимости, то уж точно о его небесполезности: “Некоторые беды, например, бедность и болезнь, идут на пользу только тем, кто их испытывает. Но моральное зло приносит пользу всему свету. Прежде всего, оно позволяет проявиться Божественной справедливости. Кроме того, оно приносит

и другую пользу. Оно заставляет людей сохранять бдительность. Оно будит наш ум и наш дух, чтобы мы могли противостоять распространению зла. Оно позволяет нам понять, как хороша добродетель по сравнению с бедами, которые есть удел дурных людей. Зло возникло не для этого. Но поскольку оно возникло, оно должно приносить пользу. Самая великая сила — умение извлекать пользу из самого зла” [1, с. 118]. Но самый показательный пример иерархизма — это “Первоосновы теологии” Прокла, у которого “сущее предшествует жизни, а жизнь — уму”, и где помимо бесконечных: “всякая вечность есть некая беспредельность, но не всякая беспредельность есть вечность”, “все вечное есть сущее, но не все сущее вечно”, “все бессмертное вечно, но не все вечное бессмертно”, мы раз за разом читаем: “первичное совершеннее вторичного, и вторичное — следующего за ним, и точно так же последующее”, “отличительные свойства низшего предсуществуют в высшем, а отличительные свойства высшего, будучи более цельными, не находятся в низшем”, и так далее, и тому подобное [8, с. 37, 72, 77, 81, 108, 295].

Итак, мы рассмотрели паратактивность и гипотактивность как характеристики культуры, или, лучше сказать, социокультурного континуума в модальностях единого и целого как идеально-типических концептуализаций стартовых и финальных стадий развития общества и культуры. Очевидно, что данные концепты не слишком употребительны, но, как мне кажется, с их помощью достаточно хорошо улавливается противоположность структурной организации ранних и поздних культур (или начального и завершающего этапа развития одной и той же культуры). В нашем случае это только эскиз, но данные концептуальные инструменты можно использовать и для более понятийно строгого и предметно определенного анализа.

Литература

1. Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991.
2. Аполлodor. Мифологическая библиотека. М., 1993.
3. Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4. М., 1983.
4. Катон, Варрон, Колумелла, Плиний. О сельском хозяйстве. М.—Л., 1937.
5. Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980.
6. Полемон Перизеет. Фрагменты // Вестник древней истории. 1983. № 3.
7. Полибий. Всеобщая история. I. СПб., 1994.
8. Прокл. Первоосновы теологии. М., 1993.
9. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
10. Шипилов А.В. Неистория. М: Прогресс-Традиция, 2012.
11. Snell B. The Discovery of the Mind. N.Y., 1982.